

Богоборцы

Всех поэтов можно условно разделить на две категории: верящих в Бога и атеистов (последних немного, и они не всегда пребывали в этом качестве, зачастую противореча себе в стихах). Например, Блок, который упрекал Ахматову, что надо писать стихи не как перед мужчиной, а как перед Богом, и о своих ранних мистических стихах говорил, что они писались “не во имя своё, а во имя и перед лицом Высшего”. И в то же время признавался А. Белому: “В Бога я не верю и не смею верить. Мы жалуемся на оскудение души. Но я ни за что не пойду врачеваться к Христу. Я его не знаю и не знал никогда. Пустое слово для меня”. В статье “Исповедь язычника” он высказывает резко негативные взгляды на современную церковь. Тяготился окружением З. Гиппиус, так как не мог слышать их “возобновляющуюся как холера болтовню о Христе”. Блок упорно сопротивлялся всяким догматическим учениям и теориям: догматике православия и католичества, догматике Мережковского, догматике Рудольфа Штейнера, многочисленным догматикам Вячеслава Иванова. Это сопротивление входило в его понятие о честности, честности перед самим собой.

Очень важным для понимания мировоззрения Блока можно считать его стихотворение “Девушка пела в церковном хоре”. Блок не приемлет лжи во спасение. То, что обещает нам вера в облике прекрасной девушки с её сладкозвучным пением, – ложь. Истина в том, что “никто не придёт назад”. И надо иметь мужество глядеть в глаза жестокой реальности. Каждое своё публичное выступление Блок неизменно заканчивал этим стихотворением. Значит, оно было особенно важным для него.

Атеистом считался А.Фет. Обращения к Богу в его стихах – поэтическая условность. Атеистом – как ни диковато звучит это слово по отношению к тончайшему и великонравственному поэту – был И. Анненский. “Я потерял Бога, – пишет он в 1904 году, – и беспокоюсь, почти безнадежно ищу оправдания для того, что кажется справедливым и прекрасным”. Нравственное оправдание он ищет вне религии. Н. Гумилёв писал об Анненском: “Он борется за своё право не верить с ожесточённостью пророка”.

В небе ли меркнет звезда,
пытка ль земная всё длится,
я не молюсь никогда,
я не умею молиться.

Время погасит звезду,
пытку ж и так одолеем.
Если я в церковь иду,
там становлюсь с фарисеем.

Но в том же стихотворении читаем:

С ним упадаю я, нем,
с ним и воспряну, ликуя.
Только во мне-то зачем
мытарь мятётся, тоскуя?

То, что “мятётся” – и есть то самое чувство высокого волнения, чувство божественного в себе, что скрыто в душе каждого истинного поэта, порой даже вопреки его собственным утверждениям. Как верно заметил М. Кузмин в стихотворении о человеческом сердце: “Пускай нам кажется, что не верим – оно за нас верит и нас хранит”. С другой стороны, у раннего Пушкина есть стихотворение “Безверие”, где он утверждает обратное: “Ум ищет Божества, а сердце не находит...”.

Помимо канонически верующих ортодоксов и убеждённых атеистов есть и третья категория поэтов, которых можно назвать богоборцами. В своих стихах они упрекают, осуждают, проклинают Творца, кощунствуют и богохульствуют, то есть вроде бы отрицают, но то, с какой запальчивостью и с какой болью они к нему взывают и апеллируют, доказывает тем самым признание его существования. В таких стихах трудно понять до конца, верят ли их авторы, хотя бы на подсознательном, генетическом уровне или это просто поэтический прием, и под Богом они подразумевают некоего трансцендентного собеседника, условную Высшую силу. Бог в представлении многих поэтов, философов – это не церковный Бог, а нечто большее, некий абсолют, включающий такие понятия, как Дух, Добро, Совесть, Истина. У религии много общего с поэзией. Это отметил ещё Жуковский в своей формуле: “Поэзия есть Бог в святых мечтах земли”.

Двойственным было отношение к религии и церкви у Ф. Тютчева. Поэт пребывал на грани веры и безверия. Аксаков (женатый на дочери Тютчева) писал о нём: “Он был совершенно чужд в своём домашнем быту не только православно-церковных обычаев и привычек, но даже и прямых отношений к церковно-русской стихии”. Ещё в 30-х годах Тютчев написал стихи, опубликованные лишь после его смерти, где обращался к Творцу с такими “богохульскими” словами:

И чувства нет в твоих очах,
и правды нет в твоих речах,
и нет души в тебе.
Мужайся, сердце, до конца:
и нет в творении Творца!
И смысла нет в мольбе!

А в 1851 году он напишет одно из самых значительных своих стихотворений “Наш век”:

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
и человек отчаянно тоскует.
Он к свету рвётся из ночной тени
и, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,
невыносимое он днесь выносит...
И сознаёт свою погибель он,
и жаждет веры... но о ней не просит.

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
как ни скорбит пред замкнутою дверью:
“Впусти меня! Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!”

Когда Тютчев потерял самого дорогого человека – Елену Денисьеву, он написал стихотворение-реквием, где его мольба Богу звучала как вызов:

О Господи, дай жгучего страданья
и мертвенность души моей рассей.
Ты взял её, но муку вспоминанья,
живую муку мне оставь по ней...

По аналогии с “денисьевским циклом” можно было бы назвать книгу Геннадия Русакова “Разговоры с богом” “циклом Копыловой”, посвящённую памяти его жены Людмилы, умершей в 1990 году. Эти стихи выстраданы и выкрикнуты единым дыханием на ледяном ветру нашей далеко не поэтической эпохи. Не один – 14 циклов, по числу лет, прошедших со дня смерти любимой. Пронзительный реквием, гимн бессмертной любви и проклятия Богу-убийце.

Не смирюсь, не отдам, не прощу!
Покажись – я в лицо твоё гляну!
На хребте к тебе камень втащу,
растрясу твою скудную манну!

И в последней моей наготе,
и в икотном бессмысленном страхе,
даже там, на отходной черте,
даже путаясь в смертной рубахе –

докляну, довоплю, дохриплю:
“Не прощаю тебе! Не прощаю!”
Ты же знал, как я горько люблю...
Ты попомнишь меня. Обещаю.

Читая эту трёхсотстраничную страстную исповедь, поражаешься, какой же духовной силой и мужеством надо обладать, чтобы не бояться постоянно возвращаться к одному и тому же и писать об этом почти теми же словами, но каждый раз по-другому. Тут и упрёки Всевышнему:

Я, Господи, тебе – обсевок придорожный,
я для тебя зерно в бесхозных закромах.

...И ладно, и пускай, ищи себе другого!
Зачем ты разорил назначенное мне?

х х х

Неужто ты завидовал нам, боже,
таким счастливым, без тебя, вдвоём?

И жалобная мольба:

Слёзно к тебе припадаю –
вспомни, найди и услышь.

х х х

Зачем, творец, не жалуешь меня?
Кто я тебе и где моя защита?

х х х

Господи, грозною силою
всепрощения твоего
исцели, исцели мою милую!
Больше нет у меня ничего.

И яростные проклятия:

У, злобный бог, не отводи глаза!
Скажи, за что? За что, творец неправый?

х х х

А я тебе почти что верить начал.
И отхожу, спокойно проклиная.

За муки милой – за столетья боли,
за семь Тобой испепелённых лет,
с Тебя, Владыка яростной юдоли,
я в судный день потребую ответ!

И угрозы Творцу:

У, страшный бог – верни, ты взял моё!
я отыщу управу и на бога!

И страх перед ним:

Ведь, Господи, я от испуга
прилюдно тебя полощу!

Он и не верит в него всерьёз:

Мой бог неласковый, тебя, наверно, нет.
Я сам, тебя, творец, придумал перед смертью.

И боится своего неверия:

Я боюсь тюрьмы, сумы и глада...
А ещё того, что бога нет.

И в то же время его не покидает ощущение его постоянного присутствия
рядом:

И тьма идёт, и небо снова ближе:
ночами расстояния не те.
И я тебя, творец, не то что вижу,
но слышу, как ты дышишь в темноте.

М. Цветаева в “Истории одного посвящения” пишет: “Все мои стихи обращены к Богу. Поверх голов – к Богу! По крайней мере – к ангелам”. Но её Бог – не канонический. “Возлюбила больше Бога милых ангелов его”, – милая игривость этой строчки говорит о совсем иной природе религиозного чувства Цветаевой. Её высказывания о христианстве: “Я никогда не дерзну назвать себя верующей”. “Для меня в церкви Бога нет”. В 1914 году она исповедуется в письме к Розанову: “Я совсем не верю в существование Бога и загробной жизни. Отсюда – безнадёжность, ужас старости и смерти, безумная любовь к жизни, судорожная, лихорадочная жажда жить. Может быть, Вы меня из-за этого оттолкнёте. Но ведь я не виновата. Если Бог есть – он ведь создал меня такой!”

Заповедей не блюла, не ходила к причастью.
Видно, пока надо мной не пропоют литию,
буду грешить, как грешу, как грешила – со страстью!
Господом данными мне чувствами – всеми пятью!

х х х

Ах, далеко до неба.
Губы близки во мгле.
Бог, не суди! Ты не был
женщиной на земле!

Марина бескомпромиссна в своём отношении к Богу. Она не хочет и не может примириться с устроенным им миропорядком. Если содержание цветаевской поэзии можно было бы свести к какой-то формуле, то это: “На Твой безумный мир ответ один – отказ”.

Теодицея – оправдание Бога – центральная проблема христианского сознания. Как совместить существование зла в мире с идеей всеблагото Бога? Да не абстрактного зла, а проехавшего вволю по твоей единственной жизни? Как приобрести и сохранить веру в справедливый промысел, если вокруг бушуют доказательства обратного?

Мария Шкапская, раньше – убеждённая атеистка (так, по крайней мере, свидетельствует её дочь), в переломное время вступила в напряжённый и страстный диалог с Богом, может быть, потому, что величие переживаемой эпохи напоминало о библейских катастрофах. Библейские законы она приняла не разумом, но поистине плотью и кровью. Отсюда и невероятное напряжение спора с Богом, чью несправедливость, вернее, справедливость, непостижимую для человека, она отвергает. У неё были об этом страшные стихи, которые она и печатать не решилась:

Боже, милый и трудный, внемлю!
Но внемлешь ли нам и Ты?
Или только готовишь землю
под белые эти кресты?

х х х

Скудные, хилые, слабые
человеческие семена.
Хозяйка хорошая не дала бы нам
для посева такого зерна.

Но Ты – из недобрых Пастырей.
Ты – неразумный Жнец.
Всходы возьмутся частые –
терн, полынь и волчец.

Так никто после Иова не разговаривал с Богом. С такой мукой, которая с богоотрицанием не имеет ничего общего. Это ведь не крик неверия: “Тебя нет!” Это вопль боли и непонимания, первая страшная догадка о том, что вопрошать бессмысленно. Но в минуту отчаяния она снова обращается к нему с мольбой:

Я верю, Господи, но помоги неверью.
В свой дом вошла и не узнала стен.
В свой дом вошла и не узнала двери.
И вот – не встать с колен.
И дети к сердцу моему кричали,
но сердце отступило прочь.
И яростной моей печали
сам Бог не мог помочь –
мой муж меня покинул в эту ночь.

Шкапская никогда бы не могла сказать, как Ахматова: “Отыми и ребѣнка, и друга, и таинственный песенный дар”, она, всегда молившая об обратном:

До срока к нам не протягивай
тонких пальцев своих,
не рви зелёные ягоды,
не тронь колосьев пустых.
Ткани тугие, нестканные,
с кросен в ночи не снимай.
Детям, Тобою данным,
вырасти дай.

В 1922 году у Шкапской выходит сборник “Барабан строгого господина”. Название проясняет эпиграф из Е. Гуро: “Мы танцуем под барабан строгого господина”.

Он, Господин, и мудр, и строг,
для каждого помнит данный срок.
Один младенцем, другой в летах,
все станем прахом в его руках.

В религиозности Елизаветы Кузьминой-Караваемой, впоследствии матери Марии, по свидетельству Н. Бердяева, было что-то трагическое, была борьба с Богом, порождённая человеческими страданиями, сострадание и жалость. Религиозность её поэзии в своём роде внешний декор, за которым открывается общечеловеческая и философская суть. В её богоборческих стихах звучит тема Иова, упрёки Богу за дурно созданный мир: “Убери меня с Твоей земли, с этой пьяной, нищей и бездарной...”. И в этом она очень близка Марии Шкапской. Так же, как Шкапская, Кузьмина-Караваемая внутренне одинока и безбытна, и ей тоже хочется тепла, любви и заботы. Она упрекает Бога в том, что он не дал ей всего этого.

Ночью камни не согреешь телом,
не накликаешь скорей рассвет.
Господи, наверно, в мире целом
никого меня бездомней нет.

Господи, я никогда не дома,
холодом неистовым влекома.
Никогда под сенью райских яблок
Ты не скажешь: “Грейся, коль озябла”.

Далёким от ортодоксального было отношение к религии у Райнера Марии Рильке. Австрийский поэт ратовал за новую форму единения людей, которую он мыслил в виде какой-то особой религии, отрицая при этом официальную церковность.

Церквей не будет, Бога задавивших,
его оплакавших и затравивших,
чтоб он, как зверь израненный, затих.
Дома откроются как можно шире,
и жертвенность опять родится в мире –
в твоих поступках и делах моих.

Бог постоянно предстаёт у Рильке в единении либо со стихиями природы, либо с простым народом. “Ты – мужик с бородой”, – так обращается к Богу поэт, а в другом стихотворении читаем: “Ты – кузнец, который всегда стоял у наковальни”. Бог еретически отождествляется у него с людьми труда, ореол величия у него отсутствует. Напротив, этот Бог нуждается в человеческом сострадании. А в одном стихотворении Бог даже сравнивается у Рильке с неоперившимся птенцом, выпавшим из гнезда и поэтому вызывающим жалость. Трудно себе представить образ, более отличный от Бога догматической религии.

Своеобразное чувство Бога было и у Бориса Поплавского. Ему чужд его царственный, величественный образ. Он ищет Бога униженного, слабого, обливающегося слезами. В дневнике записывает: “Я люблю Бога как героя, как источника боли моей за всех униженных. Бог кажется мне неудачником, мучеником своей любви”.

Молчи и слушай дождь.
Не в истине, не в чуде,
а в жалости твой Бог.
Всё остальное ложь.

Поплавский мучительно бился над разрешением задачи: с кем идти – с Богом или без Бога? В нём было подлинное религиозное беспокойство и искания. Н. Бердяев писал: “Поплавский был страдалец, жертва стремления к святости. Он чувствовал между собой и Богом тьму”.

Мне хочется простого, как мычанья,
и надоело мне метаться, исступлённому,
от инея свинцового молчанья
к уайльдовской истерике влюблённости.

Вечерний благовест замолкнул недовольно,
апостол Страсти надоедливый прошёл,
и так я радуюсь, печально и невольно,
что с лампой Бог, обидевшись, ушёл.

Иногда у Поплавского разыгрывался спор с Богом. “Неужели церковь не ошиблась, и Ты на самом деле принимал участие в творении мира?” Как мог быть сотворён мир таким? Вечный упрёк со всей силой возмущения, на какую этот кипучий человек был способен. На церковном покаянии он разразился гневом, не щадя святынь: “Я хочу моего Христа, а не церковного!” – “Однако Вы пришли в храм на исповедь”, – скромно напомнил батюшка. Но поэт не мог не возмущаться своими и чужими страданиями, не мог не бросать ежеминутно вызов мирозданию: “Как Ты мог, как решился, не пожалел!” Не только Бог

“обижался” на него, уходя с лампой, но и он обижался на Бога. В сборнике “Флаги” у Поплавского есть такая строчка: “Бог звал меня, но я не отвечал”.

В дневнике он записывает: “В отношении к Богу я так же перехамил, как и в отношении к людям. Понадеялся на свои силы и забыл, что всё даётся от любви и милости других, не только от того, что сам даёшь”.

“Перехамил Богу” и “проклятый поэт” Артюр Рембо, для которого Всевышний всегда был синонимом Долга, Порядка, Цепей, всего того зла, что он ненавидел в жизни. Один из его сонетов так и назывался: “Зло”. В нём алчный Бог спит, пока люди убивают друг друга, и просыпается, лишь когда богомолка жертвует ему 10 сантимов.

До колик в животе рыдаю, хохочу
над всепрощением Твоим, о милосердный!
Я проклят, беден, пьян – блажному рифмачу
не до тебя, пускай услужливые смерды
храпят с тобой! Усни! Я спячки не хочу.

Это строки из стихотворения Рембо “Праведник”, где звучит мотив отверженности мятежника, восставшего против Бога и отказывающегося от прощения, выпад против “оцепенелости” христианства, усыпляющего человека, отвлекающего его от борьбы за жизнь. Яростная, антихристианская направленность стихотворения перекликается с критикой христианства как рабской идеологии у Ницше. На эту тему и стихотворение Рембо “Первое причастие”, в котором он обвиняет христианство в создании ложного представления о греховности и постыдности плотской любви, извращающего нормальные инстинкты женщины.

В провинции меня воротит от церквей.
Что может быть глупей? – Облезлая сутана
зверинцу вшивому крестьянских сыновей
слюдявые псалмы талдычит неустанно...

Стихи Рембо отличает издевательский тон, богохульский, кощунственный характер. Такова “Вечерняя молитва”, где возвышенная форма сонета и возвышенная тема молитвы резко контрастирует с низменным содержанием, сводящимся к описанию потребления пива и отправления естественных надобностей. К стихам этого рода относятся и “Бедняки в церкви”, где Рембо высмеивает набожность прихожан, суетность и мелочность их молитв: “На печень Господу пожалуется дама, слизнув с перстов своих святой воды чуток”.

Отвергая тематику и романтическую сущность парнасской поэзии, Рембо смыкался с парнасцами во взглядах на искусство, которое они ставили выше морали и религии и презирали христианство (Т. Готье говорил, что даже смерть лучше, чем христианская вера) и уважали лишь языческое мироустройство,

девственную природу и превыше всего нирвану.

Для Вениамина Блаженного (Айзенштадта) Бог – совершенно свой, никогда не канонический, не церковный и не закоснело-статичный.

Ах, Господь, ах, дружок, ты, как я, неприкаянно-нищий,
даже обликом схож и давно уж по-нищему мёртв...
Вот и будет вдвоём веселей нам, дружкам, на кладбище,
там, где крест от слезы – от твоей, от моей ли – намок.

Вот и будет вдвоём веселее поэту и Богу...
Что за чудо – поэт, что за чудо – замызганный Бог...
На кладбище в ночи обнимаются двое убогих,
не поймёшь по приметам, а кто же тут больше убог.

Поэт неустанно ищет Бога, теряет, обретает вновь и вновь. Сам Блаженный уже в зрелые годы признавался: “Я до сих пор не знаю, что такое стихи и как они пишутся. Знаю только, что рифмованный разговор с Богом, с детством, с братом, с родителями затянулся надолго, на жизнь”.

Бок о бок с душою – с медведицей дико-большою –
в лесу ночевал я, а вот я бреду отрешённо
по пыльной дороге – и кличу Христа на дороге,
и вяжут мне зори кровавыми путами ноги.

Христос о те поры бродил по дороге с сумою,
да только побрезгал – чужим, неприкайным – мною,
а дьявол легонько-легонько толкнул меня в плечи,
и вот я трещу в жерловине праматери-печи.

Исчез бы я вовсе, когда бы не тишь полевая,
когда бы не пыль пылевая, не даль далекая.
Из печи – вприпрыжку, что твой из пруда лягушонок...
“Ужо тебе, Боже! Опять побреду за душою”...

Стихи этого круга Блаженный довольно точно назвал “письмами к Богу”, спрятанными на дне огромного сундука для слёз – то есть на дне болезненного, оскорблённого и униженного духа. Т. Бек назвала эти стихи не богоборческим, а “богообретающим бунтом”. Не об этом ли писал философ В.Н. Лосский: “Бунт против Бога (свобода от Него) есть Ему принадлежность”.

В отчаянье поэт порой Бога проклинает, угрожает ему возмездием всех его земных жертв:

Отец, ты меня породил,
веди же меня за собою,
туда, где Господь впереди
стоит с топором для убоя...

х х х

Мой дом везде, где побывала боль,
где даже мошка мёртвая кричала
разнузданному Господу: – Доколь?..
Но Бог-палач всё начинал сначала.

х х х

Поднимется бесчисленная рать
всех, кто с сумой ходил по белу свету..
Тогда, Господь, тебе не сдобровать.
Тебя все жертвы призовут к ответу.

Бог в поэзии Блаженного многолик. То он карает, то ласкает, то грозен, то мягок, то глух, то смешон и потешен.

Что же делать, коль мне не досталось от Господа-Бога
ни кола, ни двора, коли стар я и сед, как труха,
и по горной земле, как блаженный, бреду босоного
и сморкаю в ладошку кровавую душу стиха?

Что же делать, коль мне тяжела и котомка без хлеба
и не грешная мне примерещилась женская плоть,
а мерещится мне с чертовщиной потешною небо:
он и скачет, и пляшет, и рожицы кажет – Господь.

х х х

Если буду в раю и Господь мне покажется глупым,
или слишком скупым, или, может, смешным стариком, –
я, голодный, как пёс, откажусь и от райского супа –
не такой это суп – этот рай – и Господь не такой!

В стихах Блаженного есть потрясающая своей свежестью и лирической новизной метафора: Бог – это хлебная корка, которую надо прожевать, размочив собственной слюною, чтобы тот стал съедобным для человека хлебом. То есть путь к Богу требует личных усилий каждого отдельного существа. Блаженный

не ищет Господа в храме – он обретает Его то в метаниях духа, то в непрерывном диалоге с умершей матерью, которая для него и поныне – самый живой собеседник на белом свете: “Мама, расскажи мне по порядку, как в раю тебя встречал Христос”, то в облике отца:

Я видел Бога не в старинном храме,
он был в каком-то старом зипунишке,
когда он говорил о чём-то маме
и вслушивался в вещь затишье.

Блаженный уверен, что никогда нельзя сказать окончательно: я Бога познал. Можно лишь верить и надеяться на чудо.

Может быть, перед смертью увижу я Господа,
столько в Господе лиц...

х х х

Мне казалось всегда, что Господь где-то рядом –
вот его я окликну взволнованным голосом...

х х х

Пусть устал я в пути, как убитая вёрстами лошадь,
пусть похож я уже на свернувшийся жухлый плевок,
пусть истёрли меня равнодушные ваши подошвы, –
не жалейте меня: мне когда-то пригрезился Бог.

Книга Елены Шварц “Дикопись последнего времени”, посвящённая памяти покойной матери, поминальная. Вся интонация книги – вопль библейского Иова, потерявшего родню.

Бог не умер, а только сошёл с ума.
Это знают и Ницше, и Сириус, и Колыма.
Это можно сказать на санскрите, на ложках играя,
паровозным гудком, или подол задирая
(и не знают ещё насельники рая).

У Бориса Чичибабина – сложное отношение к Божьим заповедям. Он признаётся, что не всё из них в силах принять. Ведь согласно этим заповедям нужно ненавидеть грех, но любить грешников, любить злодеев, любить в них людей, наших братьев и сестёр. Чичибабин знает, что так нужно и должно, но

понять это ни умом, ни сердцем не в силах и тем более – применить это в жизни. В “Мыслях о главном” он пишет: “Я не могу любить мучителя, убийцу, насильника, не могу отделить их от страшных дел, их злодейств от них самих, не могу увидеть в них человеческого, Божьего. Знаю, что это мой грех, моё несовершенство, моя вина, моё несчастье, но я не могу и вряд ли хочу мочь. “Объединиться” с ними значило бы “объединиться” с их взглядами, которые, в моём представлении, являются злом; это значило бы полюбить не грешников, но сам грех, принять на душу их грехи, то есть пойти против себя, против Бога”.

Не созерцатель, не злодей,
не нехристь всё же,
я не могу любить людей.
Прости мне, Боже!

Богоборческие мотивы звучат и в стихах Ларисы Миллер:

Досадно, Господи, и больно,
что жизнь тебе не подконтрольна,
она течёт невесть куда...

х х х

О скольких за собою увлѣк ещё до нас
тот лик неразличимый, тот еле слышный глас,
тот тихий, бестелесный, мятежных душ ловец.
Куда, незримый пастырь, ведёшь своих овец?
В какие горы, доли, в какую даль и высь?
Явись хоть на мгновенье, откликнись, отзовись.
Но голос твой невнятен. Влеки же нас, влеки,
хоть знаю – и над бездной ты не подашь руки,
хоть знаю – только этот почти неслышный глас –
единственная радость, какая есть у нас.

х х х

Всё дело в том, что дела нет
ему до нас. И всякий след
готов исчезнуть через миг.
Всё дело в том, что Светлый Лик
всегда глядит поперх голов,
не видя слѣз, не слыша слов,

не опуская ясных глаз,
глядит туда, где нету нас.

Фёдора Сологуба называли “поэтом небожьего мира”. Восстав против Бога и отвергая его, Сологуб ставил личность в центре мирового процесса. Богом для него становится человек – “Я”.

Воззвав к первоначальной силе,
я бросил вызов небесам,
но мне светила возвестили,
что я природу создал сам.

Однако свой многолетний спор с Богом Сологуб заканчивает примирением с его волей:

Как я с тобой ни спорил, Боже,
как на тебя ни восставал,
ты в небе на змеиной коже
моих грехов не начертал.

Что я тебе? Твой раб ничтожный,
или твой сын, иль просто вещь, –
но тот, кто жил во мне, тревожный,
всегда горел, всегда был вещь.

И много ль я посеял зёрен,
и много ль зарослей я сжѐг,
но я и в бунте был покорен
твоим веленьям, вечный Бог.

Ты посетил меня, и горем
всю душу ты мне сжѐг дотла –
с тобой мы больше не заспорим,
всѐ решено, вся жизнь прошла.

В оцепенении жестоком,
как бурю разбитый чѐлн,
я уношусь большим потоком
по прихоти безмерных волн.

Атеист, ниспровергатель основ, “хулиган, не выбивший ни окна”, поэт Наум Коржавин тоже, как ни странно, пришёл к той же вековой истине:

От правд, затмивших правду дней,
от лжи, что станет им итогом,
одно спасенье – стать умней,
сознаться в слабости своей
и больше зря не спорить с Богом.

Что такое Бог, в сущности? Как и счастье, каждый понимает его по-своему. Для кого-то это – совесть.

Да, мы в Бога не верим, но полностью веруем в совесть,
в ту, что раньше Христа родилась и не с нами умрёт.

х х х

Точных знаний и меры
в наши нет времена.
Чту любую я веру,
если совесть она.

Н. Коржавин

Для кого-то – некий компас в душе, безошибочно указывающий, где истина.

Не собьёт в пути меня никто.
Некий Норд моей душою правит.
Он меня в скитаньях не оставит,
он мне скажет, если что: не то!

И. Бунин

В своё время Герцен, восприняв нравственные основы христианства, полагал, что всё это может существовать и без христианства. А Рильке говорил: “Бог – это направление. Глупо представлять себе кого-то бородатого, ждущего нас “там”. Важно путешествие. Важна дорога, а не прибытие”. Ещё точнее выразилась художница Фридл Диккер-Брандейсова: “Бог – это мера, без которой всё идёт наперекосяк”. Ей вторит и Г. Русаков:

Отец, тебе не лгут. Перед тобой мы наги.
А есть ты или нет – вопрос страстей и вер.

Найти тебя, найти хотя бы на бумаге,
и душу подогнать к тебе хоть на размер.

В сущности, Бог – лишь форма, в которую мы облачаем всё самое святое, близкое и далёкое, дорогое и больное сердцу. “Любая форма – это пустота. А это значит, что пустота – это любая форма”, – как сказано у Пелевина. Важно лишь, чем мы её наполним. Чтобы не “сосуд, в котором пустота”, а “огонь, мерцающий в сосуде”.

“...То, что я увидел, было подобием светящегося всеми цветами радуги потока, неизмеримо широкой реки, начинавшейся в бесконечности и уходящей в бесконечность. Свет, которым он заливал нас, был очень ярким, но в нём не было ничего ослепляющего и страшного, он был милостью, счастьем и любовью бесконечной силы. Просто глядеть на эти постоянно возникающие разноцветные огни и искры было уже достаточно, потому что всё, о чём я только мог подумать или мечтать, было частью этого радужного потока.

– Что это? Как это называется?

– По-разному, – ответил Чапаев. – Я называю его условной рекой абсолютной любви. Если сокращённо – Урал. Надо же чем-то занять себя в этой вечности. Вот мы и пытаемся переплыть Урал, которого на самом деле нет”.

В.Пелевин (“Чапаев и пустота”)

Все поэты ощущают себя частью этого светящегося радужного потока, этой бесконечной космической реки, какими бы неверующими они себя ни считали. Частицей Божьей.

Отче, я тоже твоё творенье,
и делаю, что велишь.

х х х

Я постройки твоей торец,
кровеносная вена твоя.

Г. Русаков

Бог – это то, что мы подумали о нём,
с чем кинулись к нему, о чём его спросили.

А. Кушнер

Я опять за своё, а за чьё же, за чьё же?
Ведь и Ты, Боже мой, повторяешься тоже,
и сюжеты Твои не новы,
и картинки Твои безнадежно похожи:
небо, морось, шуршанье травы...

Ты – своё, я – своё, да и как же иначе?
Дождь идёт – мы с Тобою сливаемся в плаче.
Мы совпали и как не совпасть?
Я – подобье Твоё, и мои неудачи –
лишь Твоих незаметная часть.

Л.Миллер

Наверное, это и есть подлинное религиозное чувство, гармоническое ощущение Бога в себе и себя в Божьем мире.